

ТАКОЙ ТЫ МНЕ ДОЛЖНА ПРИСНИТЬСЯ

Из романа «Ни эллину, ни варвару»

I.

Завыла сирена. Я натянул шинель и выскочил на лестничную площадку. Анна Прокофьевна уже спускалась вниз с неизменной своей швейной машинкой.

— Екатерина Борисовна!

Соседка распахнула дверь и вытолкнула детишек. Я подхватил Надю на руки, а Ванька побежал вперед — поглядеть бомбовозы с крестами. Его отец, уходя на фронт в июне, сказал:

— Нам фашиста одолеть — как цветок за ухо заложить!

Таким я запомнил Степана Бережного, хотя у нас с ним было всякое.

А в декабре уже и дети его повзрослели. Ванька вчера плаху дров притащил — готовится к трудной зиме. А Надя учит куклу оставлять хлебушек на завтра да не крошить его зря.

В бомбоубежище светит единственная лампочка, схороненная в проволочной сетке, и люди стараются расположиться вблизи нее. Бережная достает вязанье — рукавички Наде. Какой-то старик читает книжку через лупу — очень похож на криминалиста. Но большинство жмется к свету от страха — в темноте не чувствуешь себя на миру, хотя, конечно, бомба есть бомба, хоть тебе солнце сияй.

— Ты бы пальто взяла, дочка, а то — спицы, — говорит бабушка Екатерине Борисовне. Бабушка из нашего дома, мать прославленного комкора. Совсем недавно в школу ее приглашали — рассказать про сына.

Совсем недавно, но до войны. Бережная смотрит на вязанье, как будто ей его подложили. Без разума

собиралась, только детей схватила, да вот еще эти спицы под руку попались.

С Надей на руках я пробираюсь в угол. И сразу же ко мне подсаживаются несколько человек. Военная форма делает меня сильным, а сейчас такое время, что тянутся к сильным.

Ванька повертел головой, нас отыскал глазами и прошел к нам, перешагивая через вытянутые ноги.

— Далеко ухают, — сказал.

Надя посмотрела на брата несмеяниными глазами: братик — он все про войну знает, как дядя Толя.

— Дядя Толя, а какие у германцев наганы? — спросил Ванька. Молчание для него хуже темноты.

— Неважные у них наганы, брат...

— Да, — подтвердила Надя.

Пальчики у нее холодные, я их грею в своей руке — то одну, то другую ладошку. Зима в этом году немилосердная. Это скверно: Надя часто болеет бронхитом.

(Бедная девочка, через двадцать лет после окончания войны красивые детишки ходят в забавных комбинезончиках и у них не мерзнут руки в варежках из кашмилона. Летом мамы отвозят детей в оздоровительные лагеря к морю. Коричневые пацаны в Джемете делают из морского песка крокодилов — очень похоже, если еще водорослями сверху обложить. А в небе дрожат, рвутся с привязи бумажные змеи. Ты пускала когда-нибудь с Ванькой змея, Надя? Я не смогу об этом спросить даже твоего отца, хоть он и покрепче Екатерины Борисовны).

— А как вы думаете, до Сосновска

не дойдут?— спрашивает у меня девушка. Я только сейчас разглядел ее — длинные темные косы, глаза большие и зрачки на всю радужку.

— Нет, руки коротки...

Не служи верой и правдой в такой час, а служи одной верой. Это невыносимо трудно, труднее, чем у постели больного, когда служишь верой, а правдой — только иногда.

— Папка убьет всех немцев! — сказала Надя.

— Да, кроха. Что пишет папка?

— Пишет: кормят хорошо,— солидно ответил Ванька.— И чтобы Надьку беречь.

— Вот видишь,— сказал я,— ты должна пить лекарства...

— Ваня, Надя! — крикнула Екатерина Борисовна.

— Мы здесь с дядей Толей,— Ваня вскочил и помахал рукой.

— Ты пей лекарства, ладно? — девушка придвинулась к Наде. — Обещаешь?

Землю трясло. Вздрагивала лампочка. Кто-то принес с собой кошку. Она жалобно мяукала, и в ее глазах вспыхивало тревожное кошачье восклицание.

Надя шевельнулась — погладить бедненькую — и передумала.

— Черт знает что!— сказал старик и положил лупу на колени.— Кошек берут! Тоску разводить...

В бомбоубежище я часто вспоминаю последнее предвоенное мгновение, с которого назначена была иная цена и нашему прошлому, и нашему будущему. Мы ехали на машине по полю, усеянному маками. Уже виднелось село, а за ним должны быть знаменитые рыбные озера. Неужели и в селе маки? Я пригляделся и увидел в траве вздрагивающие гребешки кур. Вот так маки!

И вдруг село заголосило: «Война!»

Совсем недавно, но до войны...

Опустился шлагбаум истории. Теперь то, что по ту сторону, — это до войны. Мединститут, первая операция, Наташа в белом платье — до войны.

— Они разбомбили Кафедральный собор,— всхлипнула девушка, ни к кому не обращаясь.

— Прямое попадание,— подхватил старик,— фокусы теории вероятности...

— Пожалуй, меткость,— возразил я.

— Понимаете, я архитектор, будущий...— продолжала девушка, тронув меня за рукав шинели.

Обращались ко мне, и я сказал первое, что пришло на ум:

— Вчера встретил отца своего приятеля Захарова. Он бывший священник. Отрекся от сана — в газетах об этом писали. И вот он плакал у собора, хотя в свое время сам призывал разрушить его.

Девушка притихла.

— Я пойду в медицинские сестры. Как вы думаете, возьмут?

Я взглянул на нее, и у меня защемило сердце от мысли, что я никогда больше не увижу эту девушку. Глупости, никакая не любовь. Не увижу Оську Мильнера, Надю с Ваней, даже Анна Прокофьевна, вздорная моя хозяйка, вдруг да и приснится мне на фронте со всем своим комплексом добродетелей, который я, наконец-то, оценю издалека.

Кажется, наверху стихает. Сейчас объявят отбой.

— Как вас зовут?

— Женя... Женя Купалова.

2.

Мы курили и приминали окурки в муляжном сердце: кто-то вынул его из отверстой груди облупленного муляжа, разнял две половинки и шутейски испоганил учебное пособие — все равно война.

Военврач второго ранга Хубиев не курил, морщился от дыма, но более всего не терпел окурков. Не говоря ни слова, на манер Сократа, он брал нашу, нуждой изобретенную пепельницу, и выходил в коридор, где стояло ведро. Нам надлежало понять, что война не все спешет. Дисциплинированный Гуреев, из вчерашних третьих фельдшеров, покуривал школярски в рукав и, когда входил, дежурный, докладывал на вдохе, чтобы не так уж дым валил:

— Товарищ...

Воинское звание. Губы делают «амбушюр» не хуже, чем у трубача, вздрагивают ноздри — Гуреев заикается.

— У отделении по списку...

За дисциплинированность ему прощают штатские вольности в докладе. Да и какой из него военный? К рыхлой фигуре фельдшера идут свободные, светлых тонов костюмы.

— Усе у порядке...

Сейчас он сидит у окна, неподвижный, грузный.

Дождается, когда я притушу cigarку и, оглядываясь на спящего Хубиева, делится:

— Закончится... война, у институт поступим. Лучше всего... наукой заняться.

Лучше всего! Дальновидный он парень, если ему удастся разглядеть себя сквозь дымовую завесу страшного года. Меня раздражает, как он по-царски величает себя — «мы». И ладошка у него из особого теста.

Хубиев проснулся, сел на кровати. Веки красные, сном его, видно, только разморило.

— Ты человек?— спросил он меня по-обычному. — Иди домой и спи. Надо учитывать часы, которые не доспали. После войны ночам предъявим счет.

Он говорит почти без акцента и ошибается в словах разве что из озорства.

Попробовал руками жесткую подстилку, вспомнил о своем:

— У нас спинки кроватей «ушами» зовут. Перина, говорят,— ушей не видно. После войны перину куплю...

— Счет предъявлять... вот... ночам?— оживился Гуреев.

— Как Волынский? — спросил Хасан Исмаилович, и у него мелко задрожали веки — он сразу мог становиться серьезным и даже вспылить, что при его прямоте не все могли воспринять дружески.

— Успокоился...

Вчера мы услышали хохот в соседней с дежуркой палате. Остановившись в дверях, мы увидели, как красноармеец Беличенко (огнестрельный

перелом левого бедра), опершись на костыли, просунул руки под мышку Волынского (ампутация обеих верхних конечностей на уровне средних третей) и забавлял лежачих, иллюстрируя жестами какие-то стихи, которые шутовски читал Волынский. Ребята смеялись, поверив веселому музыканту.

А ночью он пытался покончить с собой: упал горлом на кроватную перекладину. Его оттянул Беличенко. И надавал пощечин. Потом он признался Хубиеву, что сам, будь он на месте Волынского, не дал бы так дешево вернуть себя к жизни.

Вот так, Анатолий: люди очень много стоят, если среди канонады вздрагивают от голоса живого человека, позвавшего на помощь. Можно не услышать — канонады все заглушат. Можно не терзаться — война все спишет...

— Слушай,— сказал Хубиев, и глаза его снова заузились от внутреннего напряжения,— почему бы мне не научиться играть на балалайке?

Я хотел его спросить насчет народного карачаевского инструмента — как он называется и все прочее. Хотел наставить его на путь истинный, но подумал, что мне и вправду лучше идти домой.

(В этом году я был на банкете в честь Хасана, защитившего докторскую диссертацию. Почтенный старец - родственник Хубиева - речитативом пел песню, остальные, распаленные коньяком, озвучивали эту декламацию гортанной музыкой. Хасан сидел у тѐра — на почетном месте, удаленном от дверей,— сидел молча, потому, что у него совершенно отсутствовал слух).

Гуреев вышел, прихватив с собой ящик с лекарствами. Этот парень до войны (совсем недавно, но до войны) работал в приемном покое городской больницы. Однажды мне довелось дежурить вместе с ним, и я услышал, как Юра знакомил немощную старушку с больничными правилами.

— Бабушка у нас... у клинике не курят. По-о-нятно?

— Это мне не к душе, сынок...

— Дышать мне некуды!

—...и не пьют, бабуся, вот!

Бабушка перекрестилась:

— Избавь бог и помилуй, товарищ врач!

Серьезным людям, как и всем нам, грешным, дано право на ошибку, но серьезные люди не могут воспользоваться этим правом.

— Привет, алан! — попрощался я с Хубиевым.

Я шел по улице вдоль настороженных окон. Израненный мой город стал одушевленным: кричали пластырные окна, стояли насмерть, гибли дома, грозили небу обгоревшие с одного бока деревья и, кто его знает, сколько потеряли немцы от этой неучтенной одушевленности.

И я подумал о другом. Вчера мы ездили на станцию за медикаментами. Нас остановил грохот. Танки! И всех как-то успокоило, что это были не танки с крестами, а обыкновенные (наши!) тракторы ЧТЗ: эвакуировали сельскохозяйственные машины. «Паникеры!» — сплюнул водитель: не то благовременно начальство ругал, не то про нас, попятившихся на машине, высказался.

Про нас-то вряд ли.

Я остановился у парикмахерской. Довоенная вывеска. Пока нет светомаскировки, можно верить в продолжающийся мир. Седой суетливый человек — про таких ходят слухи, что у них на книжке миллион, — пригласил меня в кресло. Все меньше и меньше казенного на нашей земле, все больше и больше своего. Меня не раздражал грязный пеньюар, которым меня укутали, — кончики сзади под воротничок, — и даже сам парикмахер казался мне старым довоенным знакомым. Пеньюарчик-то, как у мамы, решил я (откуда у мамы пеньюарчики, да еще грязные?). И парикмахер — свой человек.

— С вашей дочерью я как-то танцевал, — пришло мне на ум. — До войны...

Совсем недавно, но до войны.

— У меня нет дочери, товарищ военный...

— Значит, ваш сын поставил мне детский мат в городском шахматном клубе, который в парке.

— Вот это возможное дело. Хотя играли вы, должно, в Ленинграде. Там в парке шахматный клуб? Или в Хабаровске. Или в Батайске. Он на летчика учился в Батайске. А у меня так и не успел побывать — сразу на фронт, товарищ военный...

— Ну, конечно! — согласился я. — Батайский семафор...

Во мне еще крепко сидела довоенная привычка болтать с мастером. Вот так: щеки намылены, разглядываешь себя на предмет морщин. Насчет театральной премьеры пройдешься: голосок у этой, как ее? — слабоват, и переигрывает эта — как ее? Насчет книжки: автор недотянул, они почти все недотягивают! А вот у нас в клинике был такой случай...

— Бородку оставим?

— Да, бородку для сановитости. Как у эллина...

— Как у кого?

И вдруг я услышал, как в зашторенном закуточке сказали:

— Сейчас все идут в медицинские сестры. А зачем же косы резать?

Мастер наклонил мою голову, но, скосив глаза, я увидел коричневый джемперочек и тонкие пальцы, откинувшие косу.

— Режьте! — настаивала Женя.

Я отвел примерявшуюся руку мастера, встал с кресла и прошел в дамский зал.

— Вы что, с ума сошли? — крикнул я парикмахерше.

Женя посмотрела на меня через плечо, улыбнулась губами, кивнула.

— Доктор, вот скажите, в смысле асептики...

Щеки у меня в шипящей мыльной пене, бородка пену, должно, едва пробивает. А у Жени, господи, какие странные огромные глаза! Я схватил ее за

руку.

— В смысле асептики достаточно убрать волосы под косынку. Понятно?

— Вот и я не одобряю,— поддержала дамский мастер.— Вычуры это все...

Женя выдернула руку, взяла ножницы и спокойно отрезала левую косу. Я поймал себя на том, что продолжаю по инерции обмениваться с дамским мастером союзническими взглядами.

— Кому-то легче было бы воевать, вспоминая вас с косами, — вырвалось у меня.

Я вернулся в мужскую половину.

— Сбрейте бороду! — обреченно попросил парикмахера.

Есть еще во мне, подумалось, есть еще какой-то резерв интеллектуального роста, если я могу сказать, что минуту назад допустил глупость. Запиши себя в склеротики, когда все, что ты сделал вчера, покажется тебе безупречным сегодня. Бородато, например, глупость, из довоенного студенческого времени. — Жена не будет возражать? — спросил парикмахер.— А то тут к нам один зашел весной, и жена с ним в дверь заглядывает. Мария Павловна его побрила и массаж лица предлагает. А жена как закричит: не смейте, дескать, я сама, дескать, дома! Ревнует, значит. А судьба видишь как рассудила? Войну наслала. Вот тебе и массажик!

Женя ожидала меня в коридоре. На улице шел снег — медленный, зависающий, бесхарактерный. Как отдых перед боем. Потому что природа тоже воевала — метелями, непреклонными морозами, непроглядными ночами — всем своим бессмертием.

Тучи шли на восток — обессиленные беженцы, сорванные с насиженных мест. Посредине улицы высились сугробы, словно тесто, и сани у мужичка съехали в обочину — не завязла бы лошадка. Мужичок грозит небу, а бога нет, напрасно он в бога.

— Холодно,— сказала Женя, — без кос холодно. Странно, но война еще не отучила меня думать о пустяках.

Сейчас я вспомнила, как мы ели мороженое на лекциях, а прошлый раз в бомбоубежище я платье придумала, такое...

До войны я бы накинул ей на плечи свое пальто, она бросила бы в меня снежки, и я казался бы ей храбрым. До войны существовали мелочи, и мы их не ценили.

— До войны существовали мелочи,— повторил я вслух.

Гулко проскрежетал на повороте грузовой трамвай—платформа затянута брезентом от голодных и от сытых глаз. Винтовку в обхват, мерзнет наверху в продувном тулупчике охрана. От сорванных дугой искр, от их холодного света словно индевет спина у охранника.

— Мелочи и сейчас вокруг нас,— возразила Женя.— Просто мы их реже замечаем. Неужели война все время может стоять вплотную к человеку? Даже страшно...

Глядя на ее посиневшее лицо — в прядке волос, выпавшей из-под платка, не растаяла снежинка, — я предложил:

— Женя, вот мой дом. Балкон видите? Хотите чаю? Чай — все-таки кусочек мира...

Два ее шага в одном моем. На озябших руках обвисают пустые вязаные рукавички. И глаза холодные. Что бы она ни ответила — все станет воспоминанием. Таково глупое утешение войны.

Она остановилась. Я увидел, как взметнулись и осели около ее ног невесомые сегодня снежинки.

— Как это? По уплотненному графику войны? Простите меня, может быть, вы и от души. Но я еще не привыкла... к войне...

Я защищался от этих ее слов, как мог. Не слушал. Искал в кармане папиросы. Смотрел на свой балкон, который законопатил уже без Оськи Мильнера. Оська принес от родственников ветоши, а через день ушел на фронт. Я оставил на балконе два чурбака, на которых мы сидели — под настроение. Анна Прокофьевна иногда приносила в нашу комнату стул. Чурбаки

сейчас стояли, прикрытые белыми тюбетейками снега. И еще на балконе осталась кадка с засохшим фикусом — туда мы бросали окурки.

В самый раз закурить — лучше, чем прятаться за словами.

И я ответил:

— Ну, ладно, вы не думайте, у меня это так... Довоенное рыцарство, а не это самое.... У летчиков на «Харрикейнах» есть такая штука — форсаж. Так вот у меня это не форсаж...

Не спуская с меня глаз, она подула в варежку, потом прикрыла ею озябший подбородок. Я увидел, что она смеется.

— А все-таки чай — это хорошо. С сахаром вприкуску, а?

Она сама взяла меня под руку и повела к подъезду.

— Осторожно, здесь выбоина, — предупредил я. — Первый пролет — восемь ступенек, второй — девять.

Темно. Сумерки уже не проникают на лестницу. Забыл предупредить, что у моей хозяйки собака. Предупреждаю. Уже на площадке начинаю уговаривать Сатира, чтобы не лаял. Черта с два!

— Он на цепи.

В кухне нет светомаскировки. Впрочем, и лампочки нет. Спичку зажечь не решаюсь — только сильнее испугается собака.

— Его зовут Сатир. Сатирик, понимаете, и своих не щадит.

Держу ее за плечи, почти прижимаю, чтобы она не ударилась обо что-нибудь. Чувствую, как напряглось ее тело.

— Двенадцать шагов и будет дверь. Дурацкая привычка все считать. Довоенная...

За дверью включаю свет. Высоко подвешенная лампочка освещает узкий, в засаленных обоях, коридор. Из хозяйской комнаты никто не выглядывает. Может быть, никого и нет, но я стараюсь не громыхать сапогами. А Женя бесстрашно стучит. Любовниц выдает осторожность. Наташа иногда снимала здесь туфли.

Щелк — замок, шарк — дверь. В комнате страшный холод, хорошо, что принес дров.

— Сейчас завешу окна.

Подвел ее к дивану, почти силой усадил. Снежные окна в темноте белы и спокойны.

Развязал веревочки, заправил брезент в углах окон, включил свет. Женя сидела на самом краешке дивана, руки напряжены на коленях. Пальто на ней старенькое и платок не для красоты, а от холода.

— Печка у меня прямо для поэтов. «Мценск» на дверце написано, видите, по-старинному? Может, Бунин ее до сих пор разыскивает, телеграммы шлет из Парижа.

— Бунин?

— Не иначе, а что?

— Мама рассказывала и стихи читала.

— Вот и у меня мама. Да вы подсаживайтесь, сейчас будет тепло, а там и чай.

Подсаживайтесь, а Анна Прокофьевна стул не принесла. Не в настроении с утра. Я достал из шкафа несколько толстых медицинских книжек — трон королевы.

— Прошу!

— Ваша мама любила стихи?

— Любила. Я, кажется, хорошо под них засыпал.

— А потом... мама, а сейчас?

Я снял шинель и стал растапливать печь. Книг у меня много — до победы хватило бы на растопку.

— А потом родился мой брат, а потом еще один. И однажды я заметил, что когда мама стирает, она уже не читает стихов. В общем, знаете: грезил женщина о монисто и ходила с прищепками на шее...

Затрещали дрова, потянуло теплом, в которое пока еще не верилось. Но вот Женя сняла варежки, протянула руки к печке. У нее сполз платок на затылок, и она испуганно поправила волосы — тонкие зрячие пальцы метнулись и успокоились на коленях. Теперь можно снять платок вовсе. Поискала глазами зеркало. Я подал ей с подоконника увесистый осколок трюмо, погибшего, по сведениям Оськи Мильнера, от черной оспы. Лицо ее разругалось, и я увидел

в ее глазах острые отсветы пламени, бушевавшего в благословенной моей печке.

— Принесу чайник.

Когда я вернулся, она сидела на диване и разглядывала какую-то книгу по хирургии. Захлопнула ее и стала рассказывать об отце, которого ранили под Смоленском. Поэтому она и решила идти в медицину. Отчасти поэтому. В архитектуре сейчас остро стоит проблема землянки, а не дворца. Наверное, умению выбирать полагается стать основной мерой человеческих достоинств.

— Да, но думать надо обо всем,— ответил я. — И это под силу одной нашей России. Я уверен, что сейчас размышляют не только над новым оружием, но и над тем, какими будут наши города.

Чудо пещерного века — ласковая моя печь набрякла огнем. На кафельном зеркале, куда выходила труба, расплывчато вздрагивали световые потеки. Вот отправная точка нашего прогресса — огонь. Несколько дней назад эвакуировался мединститут. Вчера звонила Наташа: расположились в маленьком приспособленном помещении, сразу начали занятия. Какая уж тут наука? Все для фронта.

Женя оглянулась, увидела позади себя радио на стене, включила. Залаял Сатир, не выносивший новых звуков. Собака у хозяйки — родственник аллигатора, уважение к человеку ей неведомо.

Женя улыбнулась.

— В институте я выдумала себе игру. Так, от бессонницы. Лежу и воображаю себя жрицей храма. Наделила себя добрым сердцем и жертвенностью. Наверное, мне этого не хватает.

— Ну, и как вас зовут, уважаемая жрица? — заинтересовался я. — Могу вам предложить соавторство. Мужской вариант: я въезжаю в ваш Херсонес на танке.

— Я Джения. Нет, танка не надо.

— Ладно, я буду каким-нибудь философом с бородкой. Модная ра-

ботенка по тем временам. Я буду самоусовершенствоваться, и мы еще покажем стратегам, что такое думающие люди.

— Да, пожалуй, Херсонес. Там замок Каматира Петроны, а на главной площади стоит белая мраморная плита с клятвой херсонаситов. И там говорится: «Ни эллину, ни варвару!»

— Ни эллину, ни варвару! Жил в Крыму, а в Херсонесе не был.

Чайник скрипнул, словно кто-то третий осторожно вошел в комнату. Давай, соглядатай, теперь твой черед. Заводи, семьянин, песню, ниспошли нам мир до следующей бомбежки. Согрей нас, разъединенных, объедини нас, замерзших!

Мысленно я попросил ее написать мне на фронт, и Женя обещала. Она выключила радио. Неверная тишина за окном. Подойди к замороженным стеклам и слушай, как где-то рыдают вдовы. В поездах из вагона в вагон ходят инвалиды с пацанами и несут ущербную песню, и это тоже, со слезами и взрывами, войдет в фонотеку войны.

Я достал кружки. Снова залаял Сатир. Кажется, возвращается хозяйка с сыном. Если у нее хорошее настроение, то она принесет мне стул.

Однажды утром — я едва успел прикрыть постель и еще не умывался — ко мне пришел Петр Петрович Бережной. Его осеребренный снегом каракулевый воротник выглядел на первый сорт. И порча воротнику пока не грозила: с утра в моей комнате можно размещать выставку изделий из снега и льда.

Редкому гостю предложено сесть, но он не садится.

— Было бы предложено,— напеваю я про себя. И погромче — у меня в зубах потухшая папироса: — Ыло ы элозно...

Сбегал на кухню, умылся, плеснул на Сатира ледяной водой, и он обложил меня лаем.

К Бережному-старшему у меня отношение какое-то неустоявшееся. Впрочем, как к большинству людей. На каждом шагу мы выдаем экспромты,

которые прикрывают нашу неосведомленность. Сообразительность заменяет нам информацию.

Черт его знает, как я отношусь к Бережному-старшему.

А вот с его сыном у нас все было проще — шаберская ненавязчивая уважительность, скорый, на бегу, но искренний интерес друг к другу: «Как успех?» — «Как у всех!», и изредка кончавшиеся стаканом вина взаимные посещения — до визитов вежливости им не хватало чопорных речей, лимузинов под окнами и дипломатического расчета. — Степа вам кланяется. Пишет, что на фронт просится из госпиталя. А чего просится?

— Отпишите и от меня поклон Степану Петровичу. Значит, встретимся на фронте...

Я налил в мыльницу холодной воды и, расставив колени, подсел к подоконнику, на котором в един дых запотеет сейчас ущербное мое зеркало.

— Горяченькой бы водой-то, — позаботился Петр Петрович. — Эх, жизнь! Поры распарить и то... Слышать, эвакуируют из города, до контор дошло...

— Один парикмахер сказал, что от холодной воды щетина медленней растет. Вот оно, преимущество военного времени!

— Ну да, и курдюк не так отрастает с голоду, — подхватил Петр Петрович. — Тоже неплохо!

О бодрящих свойствах холодной воды хорошо поговорить, обмахиваясь газеткой у пивного ларька. По-моему, Амундсен во льдах избегал прямых высказываний на этот счет. А если, к примеру, я говорил что-то такое, то сегодня отрекаюсь от этих с пылу с жару сказанных слов. Сейчас, намыливаясь ледяной пеной, я мог бы подписаться под таким утверждением: на свете нет никакой Африки, а лето в Сосновске мне просто приснилось, а печки существуют только для красоты, потому что Прометей за огонь принял глоток спирта и по пьянке никакого огня людям не выкрадывал. — Вы меня извините, —

спохватился я.

Он сказал, что ничего, что это он про Степана пришел сообщить и до работы еще есть время. Я соскребал с лица куржак и гримасничал от боли — в красную крапинку (трижды порезался), синяя физиономия. Станным образом, еще со студенческих времен, у меня выработался рефлекс: когда я бреюсь, то представляю, как будет издана моя монография. Ажиотаж в книжных магазинах. Люди хватают ее с полок. А. И. Королев «К вопросу о...» Пли, пожалуй, так: Проф. А. Королев «Некоторые аспекты...» Название какое-нибудь значительное. «Это тот самый Королев?», «Вчера состоялась церемония вручения ему...», «Говорят, он будет оперировать самого Рузвельта — уже есть договоренность», «Открытие — не то слово. Это революция в медицине».

— Степа вспоминал, как мы его провожали...

— Да уж!

Степан все меня спрашивал на перроне: «Доктор, отчего, когда я литр водки выпью, у меня изжога начинается?».

— Это я ему проводины справил... Степа одной, можно сказать, пантомимой изъяснялся. Вот он и пишет: хоро-одшй человек Анатолий Иванович. За детишек, говорит, не опасаясь здесь, на Западном фронте, потому как знаю — там Анатолий Иванович и от голода их убережет.

Я видел в зеркале настороженную его голову — на лысом крутом черепе циркачески удерживался расплывающийся свет от моей лампочки.

— Я, конечно, сам по продовольственной части... И пост у меня немалый. Но легче всего продукты доставать за спирт...

Я повернулся к нему и увидел, что он просительски мнет в руках добрую свою меховую шапку. Мне стало немного не по себе: преувеличено, что медицина всемогуща, но еще более преувеличено, что медик может безнаказанно нацедить себе стопку спирта. До войны, конечно, было проще.

Совсем недавно, но до войны.

— Мне-то... хоть бы век его не было. А о детях надо подумать. Война, кажись, завтра не кончится.

— Петр Петрович, я постараюсь что-нибудь сделать.

Наступило неловкое молчание. Я ругал себя за подозрительность, а он продолжал мять свою шапку и все еще оставался просителем. Заметив, что я взглянул на часы, он заторопился, попятился в двери и все время зачем-то вытирал рукавом отворот пальто.

— Кто это приходил? — спросила сонная Анна Прокофьевна, не вдруг запахивая халатик у зеркала в коридоре.

— Доброе утро,— ответил я и проскользнул мимо.

— Толик!

— Извините, Анна Прокофьевна, служба...

У моей хозяйки нет психологических барьеров между способностью оскорбить и готовностью тут же, в случае нужды, молить об одолжении: «Я вас очень попрошу найти мне вот такое лекарство...» Анна Прокофьевна очень походила бы на ребенка, будь она менее злопамятной, и ее можно бы считать принципиальной, если бы не эта, такая простительная по нашим временам, забота о себе.

Я нетерпеливо поправил ремень, но Анна Прокофьевна сняла с моей шинели пылинку.

— Вам вчера звонили вечером. Я подумала, что Наташа, но девушка назвала себя Женей. Ваше дело, конечно, молодое, но с точки зрения советской морали... Знаете? Я в курсе, что вы Наташе многим обязаны. И на фронт вас пока не берут... Мне понятно, что хирург всегда на передовой. Когда за вами ночью приезжает машина, я ведь не сплю. Знаете? И Геня часто просыпается. А у него сердце слабое. Как вы думаете, могут его взять на фронт с таким сердцем? Ночью подойду к нему, а он мечется. Как это называется по медицине? Мне говорили, как это называется. Доктор Гуреев говорил, наш

знакомый, он мужа лечил... Знаете? Справочку обещал подписать, но тут комиссия нужна...

В целях самосохранения я приспособился не вслушиваться в прихотливые речи Анны Прокофьевны, но сейчас она успела меня уязвить, и мне показалось, что самое правильное в моем положении — это терпеливо и спокойно рассказать, как я с первого дня войны прошусь на фронт.

И вдруг я увидел, что это ее совершенно не интересует. В который раз ругая свою умеренность, закончил:

— Конечно, компетентная комиссия решит, что у Геня с сердцем. Возможно, ему и дадут справочку... Извините!

Я не сделал и трех шагов, как она выключила свет. Нащупывая дверь, я почувствовал в замершем слепом коридоре ее невысказанные слова: «На тебе, эскулап, сукин сын, растленная ты молодежь!»

Серело на улице утро. Настороженно дымились выщербленные трубы: а вдруг дрогнут белые дымки, качнутся, смешаются с черно-красными пожарами, и осядет снеговая баба у горящего подъезда и раскинет снеговые руки на пути у пламени!

Закутанные, подпоясанные женщины вытаскивали деревянные балки из-под камней — вчера бомба угодила в старинное здание, где до войны (совсем недавно, но до войны) хотели открыть картинную галерею. Памятник архитектуры. Охраняется государством.

У гостиницы, загораживая узкий проход, стоял крытый брезентом «газик». Я обошел его сзади и увидел, как в кузове два парня — один на коленях, другой сидя — играют в бильярд. С кием не развернешься под брезентом, неловко там да и темно — через прорехи больше дует, чем светит, — но играть, как видно, очень надо. Надо изогнуться и целиться одной рукой, а приятель шар будет ловить пригоршней да и пальцы малость отойдут в вязанках, пока черед не наступит взять кий и скинуть с рук материю.

Ах, парни, парни, вы правы, не подпуская войну близко к сердцу. Вы не рассуждаете об этом, но если бы я, рассуждающий, сказал себе и людям, что незачем думать о войне, когда до войны невесть сколько мгновений, то я выглядел бы глупее вас. Во время обстрелов вас только матери удерживают дома — там интересно, на улице, там война... От ваших многочисленных горестей вас защищают ваши нескончаемые радости. Но вот вы убегаете на фронт. Вас ссаживают на ближайших станциях и возвращают плачущим матерям. И опять вы правы, так близко к сердцу подпустив войну, а я, рассуждающий, выгляжу хитрее вас, потому что не пытался убежать на крышах вагонов.

Я прошел уже мимо гостиницы, но все еще слышал стук бильярдных шаров, и я пожалел, что в спешке не поговорил с ребятами.

Улица Тургеневская. Наискосок от поворота вспученные стены павших домов и вдруг — выстоявшие деревья в неприкосновенном ином, стариковская, аксакаловская красота — словно сторожат тишину. Тут, если свернуть влево, можно выйти к реке Сосновке, промерзшей теперь и во всю ширь скрепленной до самого апреля тропами и дорогами. И такой отсюда до того берега перепад высоты, что церквушка здешним домам в лысину видна, а с той стороны картуз в былые времена мужички придерживали, чтобы глянуть на этот дворянский бережок.

Я постоял несколько минут и короткой тропой через пустырь — если бы еще не каменные свальни — скоро подошел к госпиталю. У коновязи индевела лошадь под мешковиной, тянулась мордой к снегу, который был оранжеем от мочи и утопан. За сараем сгружали топливо: шлепали плашки, а потом с чохом заводилась — не завелась машина.

— Командир, слышь-ка, на час! — окликнули меня.

От двери по шишковато наледенелому коридорчику торопился

мужичок. Бородка стеснена завязками от ушанки, полушубок, подпоясанный для тепла.

— Мне бы как доктора Гуреева, а?

Я заметил, что белки глаз у него желтые. Да и походка, хоть спешил человек, осторожная — печеночник.

— Гуреева? Посмотрю.

Гуреева частенько величают доктором, и это более уважение, чем незнание. Не то умеренное, пока по молодости, брюшко уже обязывает к такому обращению людей, не то скромность, с которой он это выслушивает, но его даже раненые называют доктором.

— Гуреев, на выход!

Он как раз величественно стоял в дверях палаты. Я прервал его великолепный патрицианский жест — вздетая рука, полуоткрытая ладонь, как бы выпускающая голубя. Он поприветствовал меня и еще несколько раз кивнул головой, сторонкой продвигаясь к выходу.

Хубиев сидел один, хотя дым в дежурке и переполненное окурками муляжное сердце говорили, что недавно здесь обсуждали очередную сводку Информбюро — без этого не обходилось.

За странным занятием я застал Хасана: он играл на балалайке. То есть, ничего особенного. Я сел на табурет с резным сердечком в центре — прощальный подарок Бережного-младшего, я принес его из дома. Сел и сказал себе, что ничего особенного.

— Привет, алан!

— Салам!

— Нервишки штопаешь?

— Поясни!

— Да нет, болтаю. Ты отдежурил?

Он кивнул и наклонился к инструменту. Кажется, ему хотелось, чтобы я воспринимал его забаву, как мальчишество, но, отвлекшись от его неуверенных поисков — смотрю в окно, сапогом пристукиваю в такт, — я вдруг различил русскую мелодию, грустную, спокойную и какую-то окрыляющую, словно пришедшую на помощь.

— Не получается! — Хасан при

хлопнул струны. Не было в нем сейчас мальчишества.

— Понимаешь, не получается!

Он отложил балалайку. Я посмотрел на его руки — несдержанные, чувствительные. Гадать не гадать, а судить по рукам о человеке можно. Никакой мистики, почти наука.

Вошел Гуреев. Помыл руки над тазиком. Хасан повернулся к нему.

— Слушай, Юра, позови Волынского, пожалуйста!

Скрипнули сапоги Гуреева, плотно притворилась дверь.

— Хасан, мне нужна бутылка спирта. Я-то уже не в штате...

Он не посмотрел на меня и ни о чем не спросил. Хрустнул пальцами. У нас с ним не такие уж простые отношения. Глядя, как он оперирует, мне хочется смиренно склонить перед ним голову и величать на «вы». Мне дорого его расположение, и все эти годы я побаивался, что нас столкнут и разымут мелочи, которые иной раз властвуют над людьми на правах принципов.

— И пойдём ко мне,— предложил я.

— Поясни!

— Завтра уезжаю на фронт.

Волынский кашлянул за моей спиной. Культя левой его руки дернулась — он хотел закрыть дверь. Потом пнул ее ногой.

— Анатолий Иосифович, не получается! — Хасан взял балалайку, приладил ее на колени.— Что тут нажимать, не знаю, оляги-билляги!

Я подвинул Волынскому табурет. Виолончелист сел, наклонился к грифу.

— Мелодию запомнили? Я вам раз сорок пел «Вечер на рейде»...

— У меня свой путь в музыке: от техники к мелодии, а не наоборот. Я не раб таланта, это мое преимущество перед талантливыми. На сабызгы я вот так же научился играть.

Несколько первых тактов, судя по сосредоточенному вниманию Волынского, Хубиев сыграл правильно. Потом правая его рука потеряла очень уж дисциплинированный ритм тремоло. Он мотал головой и начинал фразу сначала,

как сбившийся на декламации школьник. Волынский морщился, ободряюще кивал, нетерпеливо останавливал Хасана. Я закрыл глаза и увидел в правой руке музыканта дирижерскую палочку, стучащую по пульту. Тонкие пальцы левой руки изобразили в воздухе нужный аккорд. «Смотрите сюда!»

И доктор, взглянув на лихорадочную культю Волынского, нервно искал на грифе потерянную мелодию.

— Вы халтурщик, Хубиев, лажук!

Слава богу, вам за тридцать, не то вы могли бы вообразить себя музыкантом и дурачить слушателей,— Волынский вскочил, на виске синевой налилась вена, мотнулись пустые рукава халата, и это было не хуже пощечины.

У Хасана мелко дрогнули прищуренные веки. Он взял балалайку за гриф, повертел ее и, справившись с собой, отложил инструмент в сторону.

— Меня тоже бесили неумеющие хирурги, которым я помогал на операциях, — голос у него был тихий, и волнение теперь выдавала, пожалуй, только скороговорка.— Я вас понимаю. Но вы неправы... Мне просто нравится эта песня.

Стало тихо. Волынский сел. Одной, потом второй культей вытер под глазами.

— Извините,— как-то неловко, на судорожном вдохе сказал Волынский.— Мне показалось... Впрочем, все это чепуха. Я и до ранения так воспринимал музыку и исполнительство.

Теперь он поднялся медленно, оглянулся на дверь, которую надо открывать на себя, и благодарно кивнул мне, когда я распахнул ее.

— После обхода я приду...

Мне хотелось пожать Хасану руку: так меня потрясло его участие в человеческой судьбе. Падая от усталости, почти не обращая внимания на разрывы бомб, довольствуясь глотком воды пока не принесли следующего раненого, отрекшись от себя в этом жестоком порядке и жестоком беспорядке войны,— находим мы тщеславный повод сказать

себе: «А ведь мы отдали людям все без остатка!»

Вот и не все. Не все! Равнодушный к музыке, Хасан стал обучаться игре на балалайке единственно для того, чтобы безрукий Волынский сам вернул себя к жизни: никто не в силах сделать это за него.

— От техники к мелодии — это чепуха? — спросил Хубиев и положил балалайку на шкаф.

— Чепуха. Пусть он научит кого-нибудь из выздоравливающих, которые поспособнее тебя.

Серые его с красными веками глаза остановились на мне.

— Может, и так. У инвалидов... как это? Что ли, плохо регенерирует психика, да? Для начала ему нужен легкий успех. А потом... Ты заметил, что настоящий специалист мечтает о трудном орешке? Вот я и буду ему трудным орешком. Да...

Он взял пепельницу — знаменитое муляжное сердце, вынутое из гипсовой груди молодым исследователем и утилизированное по нужде, — зачем-то понюхал (эффект нашатырного спирта) и вышел в коридор, где стояло мусорное ведро.

Вернулся он через несколько минут, вручил мне завернутую в газету бутылку и спросил:

— Во сколько уходит поезд?

— В шесть тридцать.

— Приду. А сегодня — нет.

— Поясни! — передразнил я его.

— Для друзей — перроны. На большее не имеем права.

— Ты знаешь, зачем мне этот спирт?

— Если останется, прихвати на вокзал.

— Не останется. Я его отдам Бережной. Боюсь, что трудней всего в этой войне будет детям. Но у меня есть довоенная водка...

— Салам. Мне тут кое-что сделать надо.

Я козырнул и вышел. Мне стало грустно. Для друзей — перроны. Есть слова, которым хватит силы только до ушей долететь, и они осыпаются невидимые, и падают под ноги в пыль — мир их праху! А есть слова, которые

ранят даже на излете... Для друзей — перроны. Ладно, да здравствует естественный цвет истины! Зачем перекрашивать? Не надо перекрашивать и не надо выражать. Только тепла хочется — вот она, человеческая слабость. Конечно, он намекал на женщину.

В воротах я увидел Гуреева — расставленные ноги, руки за спину. Он что-то объяснял желтушному человеку, а тот пытался вручить какой-то сверток.

— Привет, Юра! Пожалуй, увидимся в Берлине?

— Всенепременно! Верно, боец из нас неважный.

Сгодишься, тип, подумал я, подумал, вспомнив Хасана, что, сойдясь, мы чаще говорим с ним о плохом, чем о хорошем. Боязнь умильности приводила нас к разговорам о вещах и людях второсортных и зряшных. Меня восхищала трезвость и прямота Хасана, потому что я привык в жизни больше домысливать, чем разглядывать. А вот сейчас, простившись с Хасаном, я стал самим собой. И захотелось теплоты. Не обмозгованной и намеренной — от этого только мурашки по спине ползают, — а банальной душевной теплоты.

И я забыл о Гурееве.

(В Берлине мы с ним не встретились, а встретились в Саратове на съезде хирургов. Делая доклад, профессор стоял у таблиц, руки за спину. Слушали его внимательно, хотя заикался он, как в юности. В перерыве Гуреев расхаживал с начальством. Я кивнул ему, но он меня не узнал).

В этот день против моих планов мне пришлось много побегать с документами. Я выкурил все свои папиросы и перестал ощущать голод. Дважды в приемных меня заставляла воздушная тревога. Приходилось спускаться вниз, а после бомбежки время как будто заново отсчитывалось. Домой я попал только к вечеру.

3.

Постучался к Анне Трофимовне. Молчание, но дверь открыта. Заглянул в комнату и увидел спящего Геня. Снял телефонную трубку и вслепую, по

вырезаю диска, набрал номер.

— Здравствуйте, можно Женю Купалову? Это вы?

Как ей объяснить? Это звонит тот, который... Помните? И я сказал:

— Женя, хотите чаю?

Я не дипломат. В моей хитрости отсутствует преамбула. Женя засмеялась, узнала.

— Около бани? Через пятнадцать минут я буду там.

Я оделся и вспомнил про спирт. Завтра занесу пораньше.

Город уже замирал. Уже темно было, и дома по ту сторону реки становились не домами, а сползшей с неба к горизонту загустевшей темнотой. Голосов и машин не слышно. Только со стороны вокзала доносились гудки — звали, приказывали, жаловались, томили и обнадеживали. Мне показалось, что я почувствовал запах теплого шлака, сложенных штабелями шпал и унавоженных переездов, с которых нехотя весной срываются грачи. Нет, это из детства, из той поры, когда железная дорога была доброй чудесницей и на перроне тебе доверяли нести чайник, а в купе играл граммофон и старые люди — тогда все для тебя были старыми — ода-ряли тебя сладостями.

Баня не работала. Облупившиеся ее стены промерзли и непуганый снег облепил подветренный торен, разрисованный зияющими звездами разбитых стекол.

Женя подошла неслышно. Я увидел ее лицо, как крупный кинокадр перед глазами. Она молча протянула руку. Мы пошли, отворачивая от ветра лица, и она прикрыла нос рукавичкой.

Я ей рассказал о парнях, игравших в бильярд на кузове машины. Сам не знаю, зачем рассказал. Видно, не покинула меня счастливая довоенная привычка развлекать, для которой сейчас вдруг подходящей показалась эта недолгая минута мира, и мое мобилизованное бездумие, и затаенность улиц под видом тишины.

А Женя как-то странно пожала плечами и ничего не сказала. У моста

меня остановил патруль. Пожилой военный внимательно посмотрел на нас, проверил документы и козырнул.

Женя, наконец, нарушила молчание:

— Мама бы меня не поняла, если бы знала... Да я и сама...

И не то мне, не то себе стала объяснять:

— До войны достаточно было жить по закону. Живи себе, ходи под сводами... А сейчас этого мало. Живущий только по закону — плохой человек. Законы совести — вот что превыше. Понимаете? Вот мы говорим: «Все для фронта, все для победы!» Работаем, недоедаем... Вот я знала такого... А потом он не поделился хлебом с ребенком... Мало он сделал для фронта!

— Ну да, а тут военврач гуляет с женщиной! — сказал я в замешательстве.

Она спрятала подбородок в воротник. И все-таки мы идем, думал я. Не наш век мерить идеальной меркой. В сущности, эта мерка — враг справедливости, потому что все не по ней. Все не по ней!

Нет, это не размолвка, это вспышка, сумятица, желание разобраться. Ты мне открылась, Женя. Такой должна ты мне присниться.

— Мы повзрослели, — сказала она. — Скажите, о чем вы жалеете, повзрослев?

— О потерянном времени, — ответил я, как на исповеди.

— А я о людях, которые проходили мимо. Я даже не задумывалась над тем, кто они такие.

Женщины, проходящие мимо, подумал я. Не потому, что у меня их было много, а потому, что и эта мимо пройдет. И тут мне стало тоскливо. Я смотрел на ее профиль и силился убедить себя, что такое уже было: я не спал ночами, без одышки влетал на пятый этаж, хранил пустяковые записки, на скамейке в саду раскрывал книгу, где лежала ее фотография, писал в стихах, что это первая любовь. Но следующая любовь тоже была первой.

Я знал эту печаль перед разлукой, когда легче поверить в бессмертие, чем в

скорую встречу. И встреч не было. И все забывалось, отодвигалось на край памяти в туман, в небыль, заслонялось иными лицами и переставало быть первой любовью.

Но вот она снова идет рядом со мной, первая любовь. И сейчас все сложнее и искреннее. И она лучше других, вечнее других — эта странная любовь по уплотненному графику войны.

— Давайте лучше врать друг другу, чем молчать, — предложила она.

Я охнул от колючего снега.

— Херсонес? Я скупаю у бездельников время, и это не пройдет мне даром.

— Смотрите, какое море! Его называли по-разному, давайте назовем его просто Черным. Пусть это будет моим капризом, потому что оно вовсе не черное.

— Ни эллину, ни варвару! Я упомяну об этом в своих «Диалогах», которые расшифруют в двадцатом веке.

— Ни эллину, ни варвару! У вас дом с плоской крышей. На узкую улицу выходит глухая стена, а окна смотрят во двор.

— А на крыше стоит мачта, и к ней привязана амфора. Так у нас зазывают гостей.

— Ну, это уже фальсификация! Я о таком не читала.

Она засмеялась и освободилась от моей руки. Поехала по утоптанному снегу.

— А Черное море? — крикнул я. — Это тоже фальсификация. Вы заставляете меня писать лжеисторию!

— Мы не очень-то повзрослели, — сказала она, когда я подошел к ней и взял под руку. Я едва различал в темноте ее посерьезневшие глаза. — Кругом война, люди гибнут, а я словно еще не отыгралась в куклы.

Я не ответил. Мне было жаль, что она увела меня из этой спокойной сказки, которая скорее всего кончится благополучно.

(Я сам поставил диагноз, но оперировать не решился. Позвонил Хубиеву, и он прилетел. Когда ее отвозили в операционную я поцеловал ее и сказал:

«Не отдам тебя... ни эллину, ни варвару. Слышишь?»

Не так давно я побывал в Сосновске: встречались выпускники сорок первого года. Тамада на банкете неожиданно крикнул: «У кого один внук — встать!» Поднялась половина собравшихся. «У кого два внука — встать!» Мало поднялось.

А у нас было четыре внука...).

Мы остановились у подъезда. У порога намело, снег захряснул и прихватил дверь. В подъезд можно было пройти только боком. Я взял Женю за руку и протиснулся первым. Темнота, скользкие порожки лестницы. На дверях столовой — теперь там какой-то склад — наискось прилажена амбарная железная накладка, и на ней махрово вырос иней, различимый в темноте. Выбитое над лестничной площадкой окно заложено кирпичом, но все равно дует. Сугроб подымается по стене, тянется от кафельного пола.

Сатир на кухне только цепью громыхнул. Неужто запомнил Женю? За хозяйской дверью было тихо. Анна Прокофьевна частенько остается у инженера-пищевика, а вот где шляется Гений — бес его знает!

Света не было. Наверное, об этом предупреждали по радио, но я целый день не слушал радио. Зажег коптилку, усадил Женю на диван, дал ей казенное одеяло, чтобы она завернула в него ноги, и растопил печку. Время вернулось назад, словно Женя от меня и не уходила. Судьба даровала нам возможность прожить тот вечер заново. Чайник полный, дрова приготовлены. В книжном шкафу пара книг на растопку, остальные отданы Бережной. Чемодан лежит у кровати — только коленкой придави и закрой. Коптилка шевелит непомерные наши тени. Да вот одеяло, подрубленное по краям. Остальное — как было в тот вечер.

Я достал консервы из тумбочки и водку. Обе кружки я сполоснул из чайника, и воду из них вылил прямо на пол около печки. Утром разберу трубу и отнесу чугунок Бережной. У них есть, но

может пригодиться. Отнесу еще консервы и спирт.

Женя молча следила за мной.

— Я вспоминаю детство,— наконец сказала она.— И лето. В стеклах дома, который стоял напротив, махало белье. И вдруг ливень. А крыши еще горячие от солнца и над ними как бы дымка. Не замечали? А я гляжу на улицу из окна и мне жаль вымокших домов. Они как люди. Газетку бы им на голову! А когда дождь пройдет, на балконы выйдут бабушки, и у них полушалки на поясницах — от сырости...

Я подвинул диван к печке — сначала занес с одного края, потом с другого. Она хотела слезть, но не успела. — Удивительно,— ответил я и сел рядом с ней,— мне в воспоминаниях о вас не хватало бы именно этих слов.

— В воспоминаниях?

Я открыл консервы на картонке, которую положил себе на колени. Разлил водку в стаканы.

— Если не хотите, то не пейте. А я выпью, потому что завтра утром уеду в распоряжение... Да, в воспоминаниях!

Она взяла у меня папиросу и, неумело держа мундштук двумя пальцами, прикурила от спички.

— Вы молчали, потому что это... военная тайна?

— Нет, я не был уверен, что вам станет грустно. Почему-то хотелось, чтобы вам стало грустно.

Она положила папиросу на край пепельницы и потянулась к стакану.

— Никогда не пила водки. Никто мне ее не хвалил, но я видела, как с удовольствием пьют.

Мы чокнулись гранеными стаканами. Она выпила несколько глотков и задыхнулась. И добро бы опытной была в этих делах — дал бы я ей что-нибудь зажевать, и скоро одолела бы она отвращение. Но она держала перед ртом вилку, а другой рукой уперлась в диван, вся замерла и никакой силой ее не заставишь съесть что-нибудь или запить водой безрассудный глоток.

Я наклонился к печке и приоткрыл дверцу.

— Послушайте, вам не кажется, что я веду себя странно?

В ее голосе мне послышался вызов. Я ответил:

— Могу проводить вас домой, могу пересесть за стол, могу молчать, если прикажете.

Она откинулась на спинку дивана, и я смотрел на нее в профиль. Зябка спрятала руки в карманы пальто.

— Это благородство или равнодушие?

Ее вопросы ставили меня в тупик. Для полной откровенности мы, пожалуй, мало знали друг друга, но словесная забава простых соседей по столику нам уже не шла. Но она не настаивала на моем ответе. Сняла с себя одеяло и стала греть ноги у открытой дверки чугунки.

— Всегда мерзну.

— И боитесь пауков?

— Да, пауков. Неужели все женщины из одного теста?

Она покраснелась, как в прошлый раз стянула платок и встряхнула волосами.

— У меня была невеста. Она еще боялась одиночества. Недавно она эвакуировалась и вышла замуж.

На большее меня не хватило. Я не стал ей рассказывать, что позвонил Наташе, мы с ней мило беседовали, и она сообщила мне свою новую фамилию.

— Я вас не буду о ней спрашивать, хорошо?

— Хорошо.

— Давайте вернемся в Херсонес.

— Прошу вас.

— Говорите мне что-нибудь. Я тайком пришла в ваше жилище, когда увидела на крыше амфору. Что вы скажете мне, философ, скупающий у бездельников время?

Я повернулся к ней. Моя выдержка стоила мне многих сил. Явились слова, которых я не выдумывал. Может, когда-то читал. Горло у меня перехватило, я говорил тихо, так и не вернувшись в Херсонес.

— Несчетных радостей тебе, Джения... Женя, нетрудной мудрости, легких шагов под небом, спелых даров

земли и да пусть не оставит тебя судьба в красоте и наущении, пусть отведет от тебя вести из вторых рук и не покинет тебя в одиночестве!

Она слушала, прикрыв глаза. Излишняя патетика делала мои слова похожими на комплимент: им улыбаются, но их принимают. Кажется, я все-таки знаю женщин. Где она меня услышала? В Херсонесе или Сосновске между двумя бомбежками, накануне моего отъезда?

Я налил еще в оба стакана, и она сказала:

— Возвращайтесь. Я верю в наших людей, и в вас верю... — Она помолчала. — А теперь мне хорошо. Помоему, все пророки чувствуют себя лучше, когда их выслушают.

Или все пророки пьют? Скажите, я пьяная? Нет, лучше расскажите про свою невесту, а я ее буду клеймить.

Выпил я один, она только пригубила. Стало тепло — и от водки, и от радушной моей печки — одушевленного существа с налитыми, рдеющими ланитами, — и от близости удивительной девушки, в глазах которой сейчас замерла фосфоресцирующая темнота древнего моря.

И я сказал голосом своего философа, словно мне опять кто-то нашептал возвышенные слова:

— Прослушивалось море, бившееся у самых окон, и прибывало к стенам в безлунье разбитые звезды. Ее волосы сливались с темнотой неба, и звезды запутывались в них, а в глаза накатывали волны — или это я выдумал, глядя на ее профиль, обрамленный небом и морем?

— Элегия! — отозвалась она. — Это элегия. Вы не хотите про невесту? Ну и пусть! Я буду плакать, когда ты уйдешь в поход. Но ты вернешься со щитом, и я снова буду плакать от радости...

В наступившей тишине я вдруг услышал, как стучат мои часы. Сколько там мне осталось неустойчивого, тревожного мира и тепла?

— Женя, — я дотронулся до ее плеча, — ты не думала о том, что Сосновск может

быть оккупирован?

— Нет, нет, нет! — крикнула она.

— Успокойся! Есть у тебя где-нибудь родственники, которым ты сообщишь свой адрес, если... если тебя не будет в Сосновске? Понимаешь, чтобы в глубокое тылу...

Теперь она повернулась ко мне, и лицо ее было рядом — тени под глазами, осеребренные тусклым светом волосы. Кажется, я уже не помню ее с косами.

— Есть, — ответила она, как-то сразу сникнув. — Барнаул, улица...

— Подожди!

Я вскочил и стал искать карандаш. В шкафу не нашел. Наверное, бросил в чемодан. Искать бесполезно. Чиркнул спичкой, подождал, когда она подгорит до половины, потушил и написал на стене, около шкафа: Барнаул.

— Дальше...

— Улица Дрокина, пятнадцать.

Зажег еще сразу две спички, потушил их.

— Пятнадцать... Я напишу туда.

— Там тетя Маша, Мария Ивановна...

Вернувшись, я подложил дров в печку и накрыл ее ноги вытертым казенным одеялом.

— Мерзлячка...